

## ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАХ

### Честь

Брестская церковная уния оказалась тем роковым событием, которое приобрело чрезвычайное значение в политической жизни Речи Посполитой и стало одной из главных причин народного восстания 1648 года, переросшего в многолетнюю войну нескольких государств и народов.

Сама по себе здоровая вроде бы идея объединения «римской» и «русской» церквей в

исполнении церковных политиканов и государственных волонтаристов привела к катастрофическим результатам. Объединение церквей, проходившее насильственно и ложно, не заменило православной церкви на униатскую, а привело к появлению еще одной церкви, что, естественно, лишь усилило религиозную борьбу в Белоруссии и на Украине. Насилие, испытываемое православной церковью от униатов, католической церкви и королевской власти, вызвало соответствующий отпор православного населения, которое выдвинуло из своей среды ряд вождей и героев. Одним из них был писатель и публицист, игумен Симеоновского монастыря в Бресте Афанасий Филипович.

В историю белорусской культуры он вошел как автор «Диариуша» — выдающегося литературного произведения первой половины XVII века. Филипович известен не только как писатель. Волею судьбы он оказался причастен к любопытной и драматической истории одного из самозванцев, претендовавших на московский трон. Но более Филипович известен как непреклонный борец за духовную свободу белорусского народа, как человек незаурядной воли.

Когда возникает общественная потребность в защите вековых ценностей, общество с обязательностью выставляет на поприще борьбы своих подвижников, людей мощного духа, которые способны стать мучениками и собственной кровью освятить народное дело, дать пример самоотверженного ему служения. XVII столетие было временем грозного испытания духовной крепости белорусского и украинского народов, и Филипович стал выразителем их коренных интересов. В силу своего социального положения — духовное лицо, монастырский игумен — он не возглавил группу, отряд, партию, а действовал в одиночку. Но это не означает, что Филипович был одинок, — народная война, в самом начале которой он мученически погиб, — лучшее свидетельство того, что служил он правому делу и знал за собой поддержку

тысяч и тысяч единомышленников.

О происхождении Филиповича достоверных сведений нет. Твердо известно лишь одно — он был белорус. Год его рождения — 1597 — высчитан по косвенным данным. Предположение, что он происходил из семьи ремесленника, равно как и предположение его шляхетского происхождения, носит умозрительный характер, но есть больше оснований думать, что Филипович был родом из бедной шляхетской семьи, будь он «плебейских кровей», то едва ли получил бы приглашение в домашние наставники к «царевичу Дмитриевичу» — якобы сыну Лжедмитрия I и Марины Мнишек. В случае выхода «царевича» на арену большой политической игры имя домашнего учителя всплыло бы для общего знания, и обучение самозванца лицом «неблагородного» сословия стало бы большим изъяном его репутации и чести.

Неизвестно также, где учился Филипович. Начальное образование он мог получить в одной из братских школ, но высшее скорее всего получил в Виленской академии, куда иезуиты принимали молодежь любого христианского исповедания. Там, например, обучался известный православный деятель, автор первой белорусской «Грамматики» Мелетий Смотрицкий. Подобно тому, как Смотрицкий был приглашен домашним учителем к белорусскому магнату Соломерецкому, так канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега пригласил Филиповича наставником для «царевича московского». Это случилось в 1620 году, и семь лет Афанасий Филипович обучал «царственного» отрока наукам «церковнорусским» и вообще вел его воспитание.

Настоящее имя воспитанника было Ян Фаустин Луба. Его отец — подляшский шляхтич — участвовал в походе Лжедмитрия на Москву и привел туда сына. После гибели отца ребенка взял на попечение друг отца Белинский. В 1644 году на запросы московских послов в Варшаве Ян Фаустин отвечал, что узнал от Белинского о своем происхождении в зрелые годы. Белинский рассказал юноше, кто настоящий его отец, и о

том, что «царевичем московским» его называли «для всякой причины». Поскольку в Москве сына Марины Мнишек хотели повесить, то он, Белинский, думал сына Марины выкрасть, а на повешенье отдать Яна Лубу. Замена не удалась (сын Марины и Лжедмитрия был повешен), и Белинский, не желая признаваться в своей неудаче, представил Яна Фаустина королю и раде как спасенного «царевича». Кто помимо Белинского знал правду, неизвестно; многие верили в это чудесное спасение, а кто не верил, смущался в своей неверии поистине королевским содержанием Лубы — ему назначили шесть тысяч злотых годового содержания. Верил, безусловно, в истинность этой легенды и Филипович.

За семь лет он накрепко привязался к своему подопечному, полюбил его, заботился о нем, входил даже из-за него в мелкие конфликты с Сапегой, при дворе которого «царевич» жил. Конечно, нельзя сбросить со счетов естественное самолюбие человека, которому доверили нравственное и интеллектуальное воспитание сироты убиенных «царственных» родителей. У

«царевича Ивана», сложись по-другому политические обстоятельства, были бы шансы сесть на трон в московском Кремле. По крайней мере, так мог думать Филипович: ведь Михаил Романов в сравнении с «Дмитровичем» имел меньше прав на престол: «Дмитрович» все же, согласно фальсификации, приходился внуком Ивану Грозному, был Рюрикович, прямой наследник древней династии.

Но когда сумму содержания царевича уменьшили с шести тысяч до ста золотых и особенно когда канцлер Сапега обмолвился об истинном происхождении «Дмитровича», Афанасий Филипович, как он записал в своем «Диариуше», понял следующее: «Ляцно познати каждому, гды бы был з Мнишковны, воеводзианки сендомирской, Дмитровичом. Значная есть фамилия их милостей панов Мнишков! Як пан кухмистр коронный, староста Осецкий, и иншие одозвали бы ся в повиновацтво; гды ж то великая реч быти правдивым царским сыном. До того еще з уст небожчика Сапеги, гетмана, слышалем, гды педагогом был. Просилем килима обить ему над лужком, теды голосно з гневом рек: «На що обитя над лужком? Хто его ведает, хто он есть?! Я на то реклем, не вежаючи: «Шляхетские детки при педагогах своих школьные пытаются, в кого бы был в опеце». То он помысливши, заледве казал килимок и колдерку купити».

Судя по дальнейшему, Филипович в тот миг испытал настоящее потрясение. Он был человек искренний, честный, и открытие, что он служил нечестному делу, темной игре королевской политики, что его знания и чувства использовались не для справедливости, доставило ему мучительные переживания. Он счел себя грешным и решился порвать со светской жизнью. В 1627 году Филипович принял монашество в виленском Святодуховском монастыре. Ему было тридцать лет. В монастыре «злые видимые и невидимые духи» его терзали. Филипович был человек эмоциональный, деятельный, для тишины монастырской жизни неприспособленный, не для этого рожденный. Психическая подвижность, отзывчивость на злободневные заботы, потребность живого участия в реальном действии сразу выдвинули его в круг деятелей православной церкви.

Здесь уместно затронуть ту ситуацию, которая сложилась и развивалась в Белоруссии и на Украине после Брестской церковной унии и вообще те основы, на которых уния была построена и провозглашена.

Сама идея объединения католической в православной церковью была старой и в Великом княжестве Литовском. Ее пытался осуществить еще Витовт. Однако на высшем уровне — Рим — Константинополь — договоренность не удавалась никак. Поэтому исполнение унии в одном государстве — в Речи Посполитой — носило не религиозный, а сугубо политический характер. Содержанием унии было религиозное укрепление государственного единства; сложившуюся федерацию Польши, Литвы, Белоруссии и

Украины разрывала разность религий населения, и королевское правительство стояло, разумеется, за вероисповедальную однородность. Католическая церковь видела в унии средство победы над православием и

немало потрудились, чтобы этого добиться. Еще в 1577 году Петр Скарга издал сочинение «О единстве церкви божией и о греческом от сего единства отступлении», в котором убеждал, что есть три причины, вследствие которых в русской церкви никогда не будет порядка. Это — женитьба священников, которые, имея семью, пекутся о мирском; старославянский язык церкви, на котором никто в мире не говорит и не пишет; наконец, вмешательство светских людей в церковные дела. Главные условия унии Скарга видел в том, чтобы митрополит киевский принимал благословение не от константинопольского патриарха, а от папы, чтобы каждый православный во всех положениях веры согласился с римской церковью и признавал верховную власть Рима; обряды же церковные могут оставаться прежними.

Но призывы Скарги повисали в воздухе, пока не нашлись в православной церкви люди, увидевшие в унии источник личного благополучия. Такие возможности были связаны с тем, что некоторые епископии были очень богаты и давали большие доходы. Их даже старались передать по наследству как личную собственность. Например, львовский епископ Арсений передал епархию своему сыну Гедеону Балабану, и тот смотрел на нее, как на семейное владение, в связи с чем вел себя самовластно. В 1585 году антиохийский патриарх Иоаким благословил учреждение братства во Львове, что очень не понравилось Гедеону, и он стал незамедлительно противодействовать братчикам. Те пожаловались патриарху, и Гедеону поступило патриаршее предупреждение: «...не смей ничего говорить против Львовского братства, на котором бог почивает и славится, и если услышим, что ты возбраняешь дела благи я, то будешь отлучен, а потом и другому церковному наказанию подвергнешься». Оскорбленный Гедеон принял точку зрения Скарги, что уния освободит его от вмешательства братства, и высказал львовскому католическому епископу желание принять унию.

В 1589 году константинопольский патриарх Иеремия, возвращаясь из Москвы, где был вынужден Годуновым учредить патриаршество, поставил киевским митрополитом минского священника Михаила Рагозу, но одновременно дал экзаршество — старшинство над в семи епископиями — луцкому епископу Кириллу Терлецкому. Последний, однако, чувствовал себя недовольным, поскольку, являясь наместником патриарха, был вынужден делить власть с митрополитом. К тому же луцкий староста Александр Семашко, недавно перешедший из православия в католичество, проявляя свою преданность новой вере, занял соборную православную церковь, изгнав из нее Терлецкого, и устроил в церкви танцы, а гайдукам приказал стрелять в купол и православный крест.

Терлецкий подумал и решил принять унию. Единоумышленники отыскались быстро. Королю Сигизмунду III была послана грамота:

«Мы, нижеподписавшиеся епископы, желаем признавать пастырем нашим и главою наместника святого Петра святейшего папу римского... но желая быть в повиновении у святейшего отца папы, мы желаем, чтобы оставлены были нам

все церемонии службы и порядки, какие издавна церковь наша святая восточная держит, и чтобы его королевская милость вольности нам грамотами обеспечил... а мы обязуемся быть под властью и благословением отца папы и лист этот с подписью наших собственных рук и приложением печатей дали мы брату нашему старшему, отцу Кириллу Терлецкому, экзарху и епископу луцкому и острожскому. Подписали: Кирилл Луцкий, Гедеон Львовский, Леонтий Пинский и Дионисий Холмский». Король радостно отвечал:

«Мы, государь, им самим, епископам, пресвитерам и всему духовенству церкви

восточной и религии греческой обращаемся за себя и за потомков наших, что если бы кто-нибудь из патриархов и митрополитов наложил на них клятву, то эта клятва им и всему духовенству ни в чем не будет вредить... обещаем приумножить к ним ласку нашу, придавая им и каждому, кто склонится к у ни и, свобод и вольностей в той же мере, в какой имеют их и римские духовные...»

К этим вершителям унии присоединился владимирский епископ Ипатий, бывший до того каштеляном брестским, его настоящее имя было Адам Потей. В конце 1595 года Терлецкий и Потей поехали в Рим, и здесь, в Константиновом зале Ватиканского дворца, за два дня до рождества Христова папа объявил о воссоединении восточной церкви с римской. Потей и Терлецкий целовали папе туфлю...

Отъезд Терлецкого и Потей в Рим с предложением унии послужило поводом к восстанию Северина Наливайко и Лободы. Оно непосредственно связано с защитой интересов православного населения Великого княжества. Недаром в войске Наливайко было знамя с надписью «Мир христианству, а на зачинщиков Бог и Крест». В 1595 году казацкие загоны Наливайко вошли в Белоруссию, осадили Слуцк, взяли выкуп с его жителей католиков, овладели Добрушем и Могилевом. Отряды Наливайко пополнялись за счет крестьян и православной шляхты. От Могилева Наливайко направился к Пинску, который взял с помощью населения. Действия восставших столь сильно обеспокоили королевскую власть, что против него было послано регулярное войско под началом гетмана Жолкевского. У Белой Церкви казаки и Жолкевский встретились, битва длилась день и кончилась полной победой Наливайко. Но во второй битве у реки Сула Наливайко и Лобода потерпели поражение, причем сам Северин попал в плен. Его и других полковников отправили в Варшаву, где они взошли на эшафот; самого Северина заживо зажарили в специально изготовленном медном быке.

Зимой 1596 года проходил в Варшаве большой сейм, и православная шляхта дала своим депутатам наказ просить короля, чтобы епископы, отступившие от православной веры, были лишены сана. Но король не принял просьбы. Тогда депутаты торжественно заявили сейму, сенату и королю, что они и весь народ православной веры не станут признавать Терлецкого и Потей епископами и не станут им подчиняться. В противовес Сигизмунд 111 издал манифест о совершившемся соединении церквей.

В октябре 1596 года в Бресте собрался церковный собор, на котором помимо белорусских и украинских епископов присутствовали Троцкий воевода Миколай Радзивилл, канцлер Лев Сапега, королевский духовник Петр Скарга. Но с первого часа собор разделился на два: православные заседали отдельно, униаты — отдельно, причем митрополит заседал с униатами. Православные епископы несколько раз за ним посылали, но он не являлся; наконец на третье посольство пришел от униатов такой ответ: «Что сделано, то сделано; хорошо ли, дурно ли мы сделали, поддавшись римской вере, только теперь уже переделать этого нельзя». Православные издали декрет: митрополит и владыки полоцкий, владимирский, луцкий, холмский и пинский лишаются сана, потому что самовольно задумали соединение церквей, которое может быть решено не пятью владыками, а только вселенским собором. В ответ митрополит и епископы-униаты издали декрет о лишении сана и проклятии епископов, отвергших унию.

Против унии выступил выдающийся публицист того времени Иван Вишенский:

«Зачем именем христианским называть себя бесстыдно дерзаете, когда силы этого имени не храните?.. Да будут прокляты владыки, архимандриты, игумены, которые монастыри запустошили и фольварки себе из мест святых поделали, сами с слугами своими и приятелями в них телесную и скотскую жизнь провозждают; на местах святых лежат, гроши собирают с доходов, данных богомольцам христовым, дочерям своим

приданое готовят, сыновей одевают, жен украшают, слуг умножают, кареты делают, лошадей сытых и одношерстных запрягают; а в монастырях иноческого чина нет, вместо бдения, песнопения и молитвы псы воют».

Вишенский писал Рагозе, Потюю, Терлецкому:

«Спросил бы я вас, что такое труд очищения? Но вам и не снилось об этом; не только вы этого не знаете, но и ваши папы иисусоругатели, так называемые иезуиты, о том не пекутся и ответа дать не могут... Который из вас прошел первую ступень подвижничества? Не ваша ли милость веру делами злыми наперед еще разорили? Не ваша ли милость воспитали в себе похоть лихоимства и мирского стяжания? Насытитесь никак не можете, а все большею алчностью и жаждою мирских вещей болеете... Который из вас, в мирской жизни будучи, шесть заповедей Христовых сам собою исполнил? Не ваша ли милость эти шесть заповедей не только в мирском чину разорили, но и теперь в духовном беспрестанно разоряете? Сами как идолы на одном месте сидите, а если и случится этот труп обидолотворенный на другое место перенести, то на колеснице бескорбно переносите, а бедные податные день и ночь на вас трудятся и мучаются. Где вы больным послужили? Не ваша ли милость больных из здоровых делаете, бьете, мучите, убиваете? Постучись в лысую голову, бискуп луцкий! Сколько ты во время своего священства человеческих душ к богу послал? Его милость кашталян Потей, хотя и кашталяном был, но только по четыре слуги за собою волочил, а теперь, когда бискупом стал, то

больше десяти начтешь; также и его милость митрополит, когда простою рагозиною был, то не знаю, мог ли держать и двух слуг, а теперь больше десяти держит».

Действительно, духовными побуждениями творцы унии не руководствовались. Уния служила целям католизации и ополячивания, о чем свидетельствует реакция православных магнатов, быстро сориентировавшихся, что выгодно поскорее порвать с православием и невыгодно принимать роль его защитников. Начало XVII века отмечено повальным переходом в католичество знатных и древних Православных фамилий Великого княжества: Острожские, Слуцкие, Заславские, Сангушки, Пронские, Рожинские, Соломерецкие, Головчинские, Вишневецкие, Масальские, Пузыны, Ходкевичи, Глебовичи, Горские, Соколинские, Лукомльские, Кишки, Сапеги, Дорогостайские, Воловичи, Зеновичи, Тыпкевичи, Потей, Скумины, Корсаки, Семашки, Гулевичи, Калиновские, Мелешки, Павловичи и др. За ними последовала не столь знаменитая шляхта, и в целом православная церковь понесла ощутимый урон своей силы и опоры. Не случайно поэтому Мелетий Смотрицкий в 1610 году в Минске написал знаменитую свою книгу «Фрянос или плач вселенской восточной церкви». Это сочинение произвело огромное воздействие как на православных, так и на католиков. Сигизмунд III распорядился сжечь тираж книги, а самого автора найти и судить. Смотрицкого спасло, что книга вышла под псевдонимом Теофил Ортолог. «Каждое слово в «Плаче»,— писал католический священник,— есть жестокая рана, каждая мысль — смертельный яд для унии и папства, а потому не одни схизматики, но и еретики-протестанты с радостью приобретали и перечитывали эту книгу. Иные берегли ее как сокровище и завещали своим детям, как драгоценное наследие; а из православного духовенства некоторые ставили сочинение Смотрицкого наравне с творениями святых отцов и готовы были пролить за него «кровь».

В 1617 году Мелетий постригся в монахи Святодуховского монастыря в Вильно и скоро стал его настоятелем, а спустя четыре года был поставлен в полоцкую епархию епископом. Это ответственное назначение Смотрицкого произошло при необычных обстоятельствах. В 1620 году в Великое княжество приехал патриарх Феофан и здесь по

просьбе православных священников, без согласования с королевской властью, поставил во все епархии православных епископов. Вообще, войдя в нужды и бедствия православного населения, он постарался насколько мог противодействовать делу унии. Например, слуцкому Преображенскому братству, имевшему шпиталь, школу и библиотеку, Феофан дал ставропигию — право подчинения не местным церковным властям, а непосредственно константинопольскому патриарху. Это позволило братству проводить свои действия независимо от киевского митрополита, белорусских епископов и властей в Слуцке и даже вести борьбу против них.

После приезда Феофана сложилась такая ситуация, что во многих епархиях вопреки решению Брестской церковной унии оказались и униатские и

православные епископы. Мелетий Смотрицкий, в частности, получил своим противником печально известного Иосафата Кунцевича.

Кунцевич был человек фанатичный, грубый. Еще в чине архимандрита виленского униатского Свято-Троицкого монастыря он поехал в Киев проповедовать унию. Тотчас по приезде Кунцевич отправился в Печерскую лавру и потребовал от монахов вступить с ним в публичный диспут об унии. Проиграв в научном споре, Кунцевич позволил себе нахальные выпады против православия, и оскорбленные монахи всласть избили Иосафата чуть ли не до смерти. После этого в Киев Кунцевич не ездил, но в своей Полоцкой епархии он проявил настойчивость, перешедшую в вызывающее насилие. Испросив у короля привилегию на подчинение его власти всех православных церквей и монастырей в Полоцке, Витебске, Могилеве, Орше, он разослал по ним требования, чтобы священники немедленно со всеми прихожанами приняли унию, в противном случае Кунцевич угрожал попам лишением сана, а прихожанам — закрытием церквей. Когда эти требования никто не исполнил, Кунцевич и впрямь приказал опечатать все церкви, а священников взять в тюрьму. Но не имея достаточно собственных сил для решительного приведения жителей к унии, Кунцевич обратился за помощью к канцлеру Льву Сапеге. Ответ Сапеги зарвавшегося Кунцевичу весьма показателен как выражение здравого понимания обстоятельств. Сапега писал в марте 1622 года:

«Бесспорно, что я сам хлопотал об унии и покинуть ее было бы неразумно; но мне никогда на мысль не приходило, чтобы вы решились приводить к ней такими насильственными средствами... Разве неизвестен вам ропот глупого народа, его речи, что он лучше хочет быть в турецком подданстве, нежели терпеть такое притеснение своей вере? ...Поступки ваши, проистекающие более из тщеславия и частной ненависти, нежели из любви к ближнему, обнаруженные в противность священной воле и даже запрещению республики, произвели те опасные искры, которые угрожают всем нам или очень опасным или даже всеистребительным пожаром. От повиновения казаков больше государству пользы, чем от вашей унии, почему и должны вы соображаться с волею короля и с намерениями государственными... Что касается до опасности жизни вашей, то каждый сам причиной беды своей: надобно пользоваться обстоятельствами, а не предаваться безрассудно своему стремлению. Я обязан, говорите вы, последовать епископам. Вы обязаны подражать святым епископам в терпении, благочестии, в показании добрых примеров. Прочтите жития всех благочестивых епископов: не сыщете в них ни жалоб, ни объявлений, ни исков, ни судебных свидетельств. А у вас суды, магистраты, трибуналы, ратуши, канцелярии наполнены позвами, тяжбами, доносами: но этим не только не утвердится уния, но последний в обществе союз любви расторгнется... Говорите, что вольно вам неуниатов топить, рубить: нет, заповедь господня всем мстителям сделала запрещение, которое и вас касается... Кажется, лучше » полезнее было бы для общества разорвать с этою неугомонной союзницей (унией.— К. Т.), ибо мы

никогда в отечестве своем не имели таких раздоров, какие родила нам эта



благовидная уния. Христос не печатал и не запирает церквей, как вы это делаете... Покажите, кого вы приобрели, кого уловили своей суровостью, строгими мерами, печатанием и запираем церквей? Вместо того откроется, что вы потеряли и тех, которые в Полоцке у вас в послушании были. Из овец сделали вы их козлищами, навели опасность государству, а может быть, и гибель всем нам, католикам. Вот плоды вашей хваленой унии, ибо если отечество потрясется, то не знаю, что в то время с вашей унией будет».

Лев Сапега как в воду глядел. Через двадцать пять лет вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого, началась изнурительная война с Россией, случилась шведская интервенция, и в результате Речь Посполитая была подрублена под корень. Разделы Речи Посполитой, последовавшие под конец XVIII века, были во многом определены внутренней религиозной политикой в предыдущем столетии.

Ие ошибся канцлер Сапега и относительно личной судьбы Кунцевича. В ноябре 1623 года он был убит витеблянами, когда прибыл наказывать город за восторженный прием Мелетия Смотрицкого. Витебск подвергся жестокому наказанию. Председателем комиссии, посланной для расследования и суда над «мятежниками», король назначил Льва Сапегу, который годом прежде старался Кунцевича образумить. Комиссия наскоро, в три дня, погожу что боялась подхода казаков, за которыми послали горожане, «отыскала» виновных и отправилась в Варшаву, чтобы там вынесли приговор после совета с королем. Как раз в это время Сигизмунду прислал письмо папа римский. «Кто даст очам нашим источник слез,— писал Урбан VIII,— чтобы могли мы оплакать жестокость схизматиков и смерть полоцкого архиепископа?.. Где столь жестокое злодеяние вопиет о мщении, проклят человек, который удерживает меч свой от крови! Ятак, могущественный король, ты не должен удерживаться от меча и огня. Да почувствует ересь, что за преступлениями следуют наказания. При таких отвратительных преступлениях милосердие есть жестокость. Посему да отложит Ваше Величество всякое промедление и, воспламенившись благочестивым негодованием, да утешится слезами нечестивцев, наказанных за огорчение религии». И король воспламенился. Сто человек было приговорено к смертной казни в Витебске, по нескольку — в Полоцке и Орше. Правда, под топор пошло только двадцать, потому что остальные скрылись. У Витебска было отнято магдебургское право и вообще все права, ратуша разрушена, вечевые колокола сняты, соборная Пречистенская церковь развалена, а вместо нее за счет жителей построена униатская.

Смерть Кунцевича и последовавшее в результате этого казни витеблян повлияли на судьбу Мелетия Смотрицкого. Обвиняемый в подстрекательстве к убийству, Смотрицкий, чтобы избежать привлечения к суду, был вынужден отправиться на Восток, в странствие «по святым местам» и к патриархам «для выяснения запутанных и спорных вопросов христианского богословия». Но вернулся Смотрицкий на родину с убеждением, что православная церковь заражена протестантизмом и что уния есть благо. В 1628 году он изложил свои новые взгляды в «Апологии», где убеждал православное население последовать

за ним, чистосердечно принять унию и прийти к миру.

Так погиб для православия его лучший и талантливейший публицист и писатель; это случилось через год после того, как Филипович пришел в тот самый Святодуховский монастырь, где семь лет трудился в защиту «русской» веры Смотрицкнй. Конечно, вся драматическая история духовной ломки полоцкого епископа была известна Филиповичу и горько им переживалась. Спустя недолгое время ему выпало занять освободившееся место радикального критика унии, и в этом качестве Филипович выступил продолжателем лучших достижений Смотрицкого, продолжателем обличительной

традиции в белорусской литературе того времени. В том самом 1617 году, когда Смотрицкий начинал духовную жизнь в

Святодуховском монастыре, униатский митрополит Вельямин Рутский осуществил образование в Великом княжестве Базилианского ордена. До унии все православные монастыри в Белоруссии, Литве и на Украине были устроены по уставу святого Василия Великого. Каждый монастырь был независим и подчинялся только своему настоятелю и епархиальному владыке. В таком виде они переходили к униатам. Рутский решил создать из них общество по образу и подобию Общества Иисуса, то есть иезуитов. В Новогородовичах, в Минском воеводстве, состоялся съезд всех настоятелей униатских монастырей и после десяти заседаний собрание решило, что униатское монашество соединяется в Орден базилиан, которым управляет генерал (протоархимандрит) и четыре ассистента. Орден подчиняется папе римскому, в руках ордена находится воспитание молодежи.

Провозглашение Ордена было одним из звеньев укрепления унии, однако, несмотря на все видимые успехи и рвение униатского духовенства, униатская церковь и королевской властью и католиками рассматривалась как второстепенная и никогда не смогла добиться уравнивания в правах с католической. Заминка здесь состояла еще и в том, что широкие круги белорусской шляхты не переходили в унию, а принимали католичество, желая сравняться с польской шляхтой. Униатская церковь оставалась в основном церковью горожан и крестьянства. Надо сказать, что униатская церковь с течением времени на территории Белоруссии все-таки стала главенствующей. Как показал в своих исследованиях, посвященных этой проблеме, историк А. П. Грицкевич, в 1790 году, например, в белорусских поветах Великого княжества Литовского (без восточной части, уже присоединенной к России) униатских приходов было 1200 (или 73,8%), католических — 283 (17,4 %), православных — 143 (8,8%). По подсчетам историка Т. Корзона, в 1774 году на всей территории Речи Посполитой проживало 11500 тысяч человек, из них православные составляли всего 5<sup>^</sup>Р тысяч, а униаты — 3800 тысяч. Эти цифры красноречиво свидетельствуют, что со своей задачей победить православие униатская церковь справилась если не с полным, то с весьма большим успехом.

Оглядываясь по прошествии трехсот лет на дела начала XVII века и зная историческую удачу униатства, можно задаться вопросом: да стоило ли

сопротивляться унии, не мудрее ли было пойти навстречу, принять ее сразу, без жертв и крови сопротивления, содействовать ее скорейшему утверждению и таким образом сохранить мир в обществе и людях? Какая разница в том, кому подчиняется церковь: константинопольскому патриарху или римскому папе? Так ли существенны для духовной жизни людей различия обрядности и церковного чина? Ведь стали же Англия и Швеция из католических протестантскими государствами и тем не менее не утратили своей национальной самостоятельности. Так ли крепко связана национальная самостоятельность с религией, как это казалось защитникам православия в XVII столетии? Но все это — рассуждения и вопросы задним числом. От живых людей нельзя требовать ледяного умозрения, когда в их привычки, быт, мировосприятие врывается чужак, объявляет себя носителем истины и гонит к ней кнутом.

Для Афанасия Филиповича не стояло вопроса: прав он или не прав? Он был прав, за ним стояли шесть веков истории православия на белорусских землях, многие поколения предков, живших в чистоте «греческого» исповедания. Нравственное состояние верхушки униатов внушало ему отвращение; средства, с помощью которых уния шла к победе, казались ему сатанинскими. Внешняя политика католического короля Сигизмунда III вела к постоянным кровопролитиям, для успехов этой политики не гнушались ложью

и насилием над совестью народа; а главное — уния означала не равенство, а подчинение «русской» веры вере «римской»; для гордого сердца подчинение насильнику, признание своей слабости и неценности своих чувств — дело невозможное.

Эту невозможность, нежелание унии проявили широкие слои населения, принимая за свою стойкость страдания и муки. История утверждения унии знает сотни и сотни примеров, когда противников топили, стреляли, избивали, судили, когда у них отнимали храмы, превращая их в униатские, когда противников подвергали издевательствам, каких не применяли даже турки. «А теперь пятьдесят лет тылько тому,— писал Филипович,— як унея проклятая для столка сенаторского и для поваги пышных духовных нещасливе настала и так потурбовала панство тое спокойное, же не тылько в краинах, в князствах, в поветах, в местах, в местечках и в селах селян з селянами, мещан з мещанами, жолнеров з жолнерами (бо и з казаками война внутреная непотребна о том была), панов з поддаными, роднчов з детками, але и духовных з духовными, наостаток, монахов з монахами до гневу непогамовапого приводила, приводит и нещасливе розжаривает».

Секрет любого сопротивления прост: он кроется в страстности веры. Борьба за унию и против унии означала столкновение страстей. Самым худшим следствием унии было то, что она привела к братоненавистиичеству; люди одного народа, потомки одних предков, наследники общей истории начали враждовать не с чужаками, а между собой, и враждовать насмерть. По идеальному замыслу, по религиозному идеалу уния была добрым делом, по

реальному воплощению, по интересам ее творцов — она несла вред развитию белорусской культуры, поскольку служила целям католизации и ополячивания, что доказала общественная жизнь Белоруссии в следующем веке.

Такие вот события совершались в те годы, когда Филипович обучал «Дмитровича — царевича московского». Как реагировал он в эти годы на отношения православия с униатством, нигде не засвидетельствовано. Но переживания 1627 года, приход в монастырь резко направили его к активной деятельности. По заданию своего начальства Филипович объезжает ряд монастырей с целью договоренности об общих действиях против католического напора. Успех поездки принес ему сан иеромонаха, и в 1633 году он оказался в Дубойском монастыре (неподалеку от Пинска), откуда вскоре перешел в Купятичи. Здесь при монастырской церкви находилась чудотворная Купятинская икона божьей матери, что привлекало в монастырь множество верующих. Близость монастыря к городу (двенадцать верст от Пинска) также служила его славе и действенности.

Событиями жизни в монастыре Филипович и открывает описание своего путешествия в Москву в 1637 году.

Само путешествие стало возможным после смерти короля Сигизмунда 111, когда отношения между Речью Посполитой и Москвой несколько улучшились. Правда, в бескорольеве царь Михаил решил захватить Смоленск; московское войско обложило город осадой, которая длилась восемь месяцев и окончилась бы сдачей осажденных, но тут на выручку смолянам пришел новоизбранный король Владислав. Ситуация изменилась, московское войско было вынуждено само потерпеть осаду, которая тянулась более полугода. Наконец, воевода Шеин сдался. Владислав, двинувшись на Москву, предложил Михаилу Федоровичу мир, и в 1643 году на реке Поляновке он был заключен. По условиям мира русские отказались от притязаний на Смоленск, выплатили Речи Посполитой двадцать тысяч рублей.

Владислав IV же навсегда отказывался от притязаний на московский престол. Притязания эти имели формальную основу: Владислав после свержения Василия Шуйского восставшими москвичами в 1610 году был избран в русские цари и носил титул московского самодержца. Избранный на царствие в 1613 году Михаил Романов

долгое время правительством Речи Посполитой считался «незаконным» царем, и лишь Деу лине кое перемирие 1618 года сняло острогу противоборства. Тем не менее царский титул Владислава продолжал фигурировать в случаях дипломатической нужды.

Поляновский мир привел к некоторому успокоению, которое могло повлиять на улучшение положения православной церкви в Белоруссии и на Украине. Новый король, опасаясь дальнейшего развития религиозной борьбы и войны, сразу принял принципиально важные решения в спорах православных с униатами. Он решил: быть двум митрополитам — униатскому и православному; в полоцкой епархии быть православному и униатскому архиереям;

православным уступаются Киево-Печерский монастырь и луцкая, львовская, перемышльская епархии. Иначе говоря, если в 1596 году в Бресте пытались навеки похоронить православную церковь, заменив ее униатской, которую и признало единственно законной правительство Сигизмунда 111, то сейчас официально признавалось существование в Речи Посполитой четырех церквей: католической, православной, униатской и кальвинистской.

Однако королевские указы не означали мирного решения религиозных вопросов и споров на местах. Между соперничающими церквями в городах и селах сохранялось прежнее ожесточение. Оно даже усилилось в связи с казацкими восстаниями Сулиша, Павлюка и Скидона, Трясилы, Острицы и Гуни.

В 1637 году Афанасий Филипович вместе с иноком отправился по Белоруссии за ялмужиной (милостыней) для обновления ку пяти чекой церкви. Но в белорусских православных поветах собрать требуемую сумму оказалось делом тщетным, и Филипович принял смелое решение попасть в Москву и просить ялмужину у царя. На этом пути отцу Афанасию и его спутнику пришлось испытать немало трудностей, но все же они сумели достичь желанной цели. Самым сложным было попасть на прием к царю. От прихожих из Белоруссии и Литвы в Москве желали важных сведений, с простыми просителями и разговоры не заводились. Сориентировавшись в обстановке, Филипович решил представить для царя через Посольский указ описание своего путешествия» объяснить побудительные причины и заинтересовать царя раскрытием той ценной тайны, которою он владел, а именно: в пределах Белоруссии проживает лицо, какое ответственными властями Речи Посполитой признавалось «царевичем Дмитровичем». Несложно вообразить реакцию царского двора, когда оно узнало от Филиповича об очередном претенденте па русские скипетр и державу. Поскольку брестский игумен предал огласке государственную тайну, то московское правительство получило пусть небольшой, но все-таки козырь для своей политики отношений с Речью Посполитой. Филипович заслужил щедрую ялмужину, а по его отъезде к королю был послан царский посол с вопросами о самозванце и требованием выдачи его Москве для казни.

Описание поездки в Москву — первое произведение Филиповнча. В нем многое недоговорено или вообще покрыто молчанием, но честность, искренность, эмоциональность автора просматриваются очень ясно. Конечно, обусловленность психической жизни личности редко предстает в раскрытом виде; тем более непросто отражается она в литературе, где искренность может быть принята за прием, а прием — за искренность, но по «Диариушу» видно, что у Филиповнча было сильно развито образное мышление, а поступки вытекали не из трезвого расчета, а были точным исполнением душевного состояния или сердечного порыва. Едва ли можно считать, например, литературным приемом свидетельство Филиповнча о голосе богородицы, услышанном им после того, как игумен Илларион Денисович поручил ему сбор ялмужины.

«О дивные sprawy бозские! Зараз там в трапезе страх барзо великий пал на мене, и

власне як бы одрентвелый сиделем у столу. До кельи моей вшедши, защепилемся и почалем богу всемогущему офероватися в том послушанстве. По малой хвиле, стоячому мне на молитве, страх мя такой обнял, жем утекати з келии моей поривался н, нежкость моцью боаскою задержаний зоставши, долго ревнивее плакалем. В том без жадной особы голос вдячий слышати было таковой: «Цар московский збудует ми церков! Иди до него!» В том мене як варом облито. Знову почалем тяжко плаката, мыслячи, што то будет».

Общение с Панной Небесной потом повторялось неоднократно. В трудную минуту путешествий, в минуту сомнений Филипович вновь «правдиве слышалаем голос таковой: «О Афанасий! Иди до царя Михаила и рци ему: звияжай неприятели наши, бо юж час пришло. Мей образ пречисто в кресте Купятицки на хоругвах военных для милосердия. А в битви той кожного человека, мянуочогося православным, здорово заховай». Другими словами, богородица подсказывала Филиповичу просить царя Михаила о военном вмешательстве в религиозные распри Речи Посполитой, что он и сделал, занеся слышанное в дневник поездки. Но надежды на царскую отзывчивость имели в основе только силу желания отца Афанасия. Реальный политический расчет здесь не присутствовал. Сама подобная просьба, высказываемая провинциальным игуменом, в лучшем случае могла восприниматься как жалоба.

Мышление и чувствования Филиповича были насквозь пронизаны символикой, поэтому работа воображения не воспринималась им отчужденно. Воображаемое, поскольку порождалось сердцем, имело такую же реальность, как явь. «И гды князь Радивил, канцлер литовский, року 1636, именем Полоза утискуючы церков православную — писал Филипович,— одбирал монастыр той Дубойский на иезуиты барзо мудрые, фундуючы их в месте Пинском, в тот час барзо страшнее видоки на неби и на земли (не през сон, але в день и наяве, толко я в захвиценю яком будучи) видилем: на небе — хмуры барзо гневливые з войсками ушикованными, на каране готовыми, и на земли — седм огнюв пекелных, на седм грехов смертелных зготованых. З тых огнюв в пятом — жаристом гневи — трох особ выразне видилем: нунциуша легата в короне папезской Жигмонта кроля и Сапегу гетмана, за преслядоване церкви восточной барзо смутно седячих. Которое видене, гдым другим указовал, видити не могли». Конечно, не могли видеть, потому что имели иную духовную и психическую организацию, не были столь эмоциональны, а были более рассудительны, отчего и не создавали себе таких неприятностей, каких не мог в силу искренности чувств избежать Филипович.

Об эмоциональности природы Филиповича говорит и его особенное отношение к иконе Купятицкой божьей матери. При всех ее чудотворных свойствах она никак не могла претендовать на роль святыни общебелорусского значения и тем более святыни всего населения «греческой веры» Речи Посполитой. Между тем Филипович придавал ей значение самой главной

реликвии церкви. Например, в «Пораде побожной Владиславу IV» он настоятельно «рекомендует» снять с колонны возле королевского замка в Варшаве статую Сигизмунда (отца Владислава) и вместо нее вознести «на слуп образ пречистой богородицы чудотворный Купятицкий». Понять Филиповича нетрудно. Веруя в православие, ненавидя унию, он как человек страстный приходил в бешенство, видя статую гонителя православия на небывалой высоте. Сигизмунд III для Филиповича — Нерон, антихрист, истребитель истинной веры. Однако можно понять и недоумение людей, которые призывались думать о Купятичской иконе как об одном из чудес света.

В 1640 году брестские братчики выбрали Филиповича игуменом Симеоновского монастыря, и годом позже отец Афанасий самовольно отправился в Варшаву на вальный сейм, где представил королю документы на официальное утверждение восстановленного

брестского братства. Владислав засвидетельствовал эти бумаги и придал к ним привилей, по которому братству позволялось купить в городе участок для строительства собственной школы. Юридическое оформление документа требовало печатей канцлера Радзивилла и подканцлера Тризны. Но те заявили, что приложат печати лишь при том условии, если Филипович и монахи его монастыря примут унию.

Оказавшись не просто обманут, но и оскорблен, Филипович укрепился в своих враждебных взглядах на унию, с которой для него связывалось бесчестие, насилие, ложь. Не желая уступать, Филипович через два года на очередном вальном сейме, без согласования с кем-либо из православных епископов, раздал королю и сенаторам рукописные экземпляры своей истории поездки в Москву, копии Купятичской иконы и выступил перед депутатами с «Супликой», в которой требовал от короля немедленного уничтожения унии:

«Хотей же, ваша кролевская милость, ласкаве в то вейзрити для врожоное ваше доброты и присяги ваше королевское милости, абы вера правдивая грецкая грунтовне была успокоена, а унея проклятая вынищена и вннвеч обернена. Бо если у нею проклятую выкорените, а всходнюю правдивую церков успокоите, то щасливые лета ваши поживете. А если не успокоите веры правдивое грецкое и не знесете унеи проклятой, то дознаете запевне гневу божого... В воли то человекей есть: обирай же себе, што хоч, поки час маеш!»

Присутствовавшие на сейме православные иерархи, испугавшись неслыханной дерзости Филиповича и забоявшись, что ультимативная «Суплика» может быть понята как одобренная ими, поспешно взяли игумена под стражу. Находясь под арестом, Филипович, однако, каким-то образом сумел выскользнуть в город, причем в день католического праздника, и бегал по варшавским улицам в клобуке и одной рубахе крича: «Беда проклятым и неверным!» За эту выходку его лишили сана игумена и отправили в Киев к митрополиту Петру Могиле. Здесь духовный суд счел, что Филипович принял достаточные мучения, долгий срок пробы в колодках и в заключении, вернул ему сан и разрешил вернуться в Симеоновский монастырь.

Однако Филиповичу недолго пришлось жить на свободе. В 1644 году московское правительство наконец вытребовало у короля «царевича» для самостоятельного расследования его «преступлений» и усмотрения его судьбы. Контрмерой короля стал арест Филиповича в качестве заложника за Лубу. Отца Афанасия заковали и посадили в одну из варшавских тюрем. Одновременно в Москву был послан специальный гонец с объявлением, что игумен, выдавший тайну «Дмитровича», взят под стражу и что судьба его находится в прямой зависимости от судьбы Лубы. Но Филипович уже интереса для московских властей не представлял.

Лубе как самозванцу грозила смертная казнь, и тогда автоматически был бы казнен Филипович. Главным документальным свидетельством виновности Лубы — его «воровства» — были письма к Афанасию Филиповичу, которые игумен передал московскому послу Львову. Письма эти, подписанные «Иван Фаустин Дмитрович», содержали указание, что писаны «у царевича на обеде» в его «царевичевой господе». Жизнь Лубы висела на волоске. Ему повезло, что строгий царь Михаил Федорович умер и на престол взошел его сын — «тишайший» Алексей Михайлович. В связи с торжествами воцарения и обещанием короля Владислава не предъявлять никаких прав на Московское государство, а также его желанием «братской дружбы и любви» с царем Луба был отпущен на родину.

Но возвращение Яна Лубы не сразу принесло свободу Филиповичу. Он провел в темнице год; за этот срок отец Афанасий написал целый ряд произведений — «Новины»,

«Фундамент непорядку костела римского», «Суплику третью», «Приготовление на суд», «Параду королю», «О фундаменте церковном». Филипович обвинялся в государственной измене, смерть стояла в непосредственной близости к нему, и многие бы на его месте сочли за лучшее «одуматься» или, по крайней мере, благоразумно забыть об «унеи проклятой». Но помимо воинственной публицистики отец Афанасий сочинил еще и песню против унии, своего рода гимн, пением которого, верно, укреплял свой дух в минуты сомнения:

Звитяжай же зрайцов: первей униатов. Препозитов также, и их номинатов. Абы болш не колотили, в покою лет конец жили. Потлуми всех противников и их рады, Абы болшей не чинили гневу и здрады Межи греки и рымляны, гды ж то люд твой есть выбранный! И так далее, всего сорок восемь строк, причем сам Филипович придумал музыку и

записал ее нотами. После заточения игумена под конвоем вновь отправили в Киев с королевским

пожеланием митрополиту Могиле поселить Филиповича так, чтобы он «не могл жадных голосов робити». И отец Афанасий оказался заперт в келье Печерского монастыря без права выхода на воздух.

Здесь Филипович занялся сложением своих публицистических работ в



единое произведение, получившее известность под названием «Диариуша албо списка деев правдивых в справе помноженя и объясненя веры православное голошених... для ведомости людей православным, хотячим о том тепер и у потомные часы ведать». Свою работу Филипович поднес Петру Могиле как с целью собственной реабилитации и освобождения, так и в качестве программы действий православной церкви в противоборстве ее униатам и католикам.

Могиле был выдающимся деятелем своего времени. Он многое сделал для развития просвещения, ему принадлежит заслуга в открытии православной Академии в Киеве (получившей впоследствии его имя), издании книг, восстановлении древней киевской Софии. Могиле был одноклассником Филиповича и происходил из семьи молдавского господаря. До двадцати восьми лет он служил в войске, а затем постригся в Киево-Печерской лавре, где выдающиеся способности скоро выдвинули его в настоятели; немногим позже он добился сана митрополита. Филипович духовно не был близок Могиле, который не разделял ни радикальных действий брестского игумена, ни его промосковских настроений. К тому же освобождение Филиповича стало бы очевидным вызовом королю, а идти на конфликт с королем из-за игумена, «запятнанного» обвинением в государственной измене, вольно или невольно поступившего во вред Речи Посполитой, Могиле не желал. Поэтому он «Диариуш» прочел, но автора от заключения не освободил. Лишь в начале 1647 года, уже по смерти митрополита, отцу Афанасию посчастливилось вернуться в брестский монастырь.

В это время на Украине происходили события, отнестись к которым равнодушно Филипович не мог. В апреле 1648 года Хмельницкий поднял знамя казачьего восстания, и уже 5 мая у Желтых вод случилась битва между казаками и регулярными войсками, в которой Хмельницкий одержал полную победу. Через десять дней у Корсуня он наголову разбил войска гетманов Потоцкого и Калиновского, и эта удача перевела восстание в народную войну. Поднялись крестьяне и стали вымещать свои давние и многие обиды шляхте и католическому духовенству. В Речи Посполитой настали смутные времена.

Филипович жадно внимал всем вестям с Украины. Его деятельная натура не давала

ему стоять в стороне, быть посторонним наблюдателем, хладнокровно ожидать благоприятного развития событий. Верно, он считал, что год тюремного и два года монастырского заключения отняли у него много сил для успешной борьбы с унией. Настал час действовать, он призван Купятичской богородицей крепить дух народа, и отец Афанасий посылает «листы и порох до казаков». Такое обвинение выдвинули против Филиповича брестские власти, и первого июля он был арестован. Возможно, что Филипович посылал только рукописные экземпляры своего «Диариуша»; возможно, что ничего не рассылал, а воинствующая ненависть брестских униатов использовала обстоятельства, чтобы окончательно разделаться с непримиримым противником. Как бы там ни было, но Филипович вновь оказался в брестской

тюрьме. Здесь, в полной незащитности перед реальной возможностью убийства, он не поступился ничем из своих убеждений, не отступил от своей страстной ненависти к унии, хотя даже видимость отступления могла сохранить ему жизнь. Наоборот, он показал высшие честность и честь, подтверждая в критической и опасной ситуации свои прежние слова о «проклятой унии».

Еще жива была память, как он грозил адом Сигизмунду, как страшил Владислава; ненависть, какую сыскал Филипович среди католических и униатских приверженцев, давно искала удовлетворения; пожелания его смерти шли от королевского двора — хоть Владислав и не посылал игумена на плаху, а сбыл со света в келью монастыря, но само желание гибели Филиповича, без условно, понималось в среде униатов. Оно не обязательно должно было быть сформулировано в приказ; оно угадывалось, на лету подхватывалось теми, кто без раздумий готов был доставить удовольствие «сильному мира сего» смертью не приятного ему противника. К тому же в августе по решению сейма выступило против казаков 30-тысячное войско под началом гетманов Заславского, Конецпольского и Остророга. Войско и шляхта были уверены, что приходит конец «козаччины», что считанные дни остались буйствовать Хмельницкому, его полковникам, казакам и мужикам. Уверенность в близкой победе «над сволочью» была так сильна, что шляхта хвасталась разогнать восставших без пуль — плетями. При таком состоянии душ жалостливость или просто законность не существуют. Злоба требовала выхода в физическом истреблении всех «смутьянов» и религиозных противников.

Нельзя не рассмотреть еще один пласт общественного сознания, побуждавший к жестокости. Хоть каждая из противных сторон вслух заявляла о своей силе и непреложной своей победе, однако исторический опыт, чувство необычности этого восстания подсказывали, что оно не закончится так просто и не может быть подавлено так быстро, как прежние. Наиболее чуткая часть общества уже жила пониманием катастрофы, грядущей страшной войны, которая, действительно, скоро разгорелась и обернулась небывалыми жертвами — только в Белоруссии она унесла половину жизней и привела к запустению множества городов, местечек и деревень. Эти апокалиптические настроения прямо отражались на решении судеб. Предчувствие массовых убийств с обязательностью проявляет себя в актах единичных казней. Все это вместе взятое сказалось на трагическом исходе жизни Афанасия Филиповича.

Та решительная битва, на которую вели полки Заславский, Конецпольский и Остророг, произошла 20 сентября под Пилявцами. Продлившись два дня, она закончилась паническим бегством польской стороны. В сражении погиб и воспитанник Филиповича Ян Фаустин Луба, служивший писарем в королевской пехоте. Этот человек, с младенчества сделанный игрушкой для политической игры, прожил всю жизнь под надзором. Судьба его была изломана против его воли, и так же несчастливо, как жил, он и сгинул. Жизнь Филиповича оборвалась двумя неделями прежде. После двухмесячного держания в оковах, в ночь на 5 сентября 1648 года, его вывели в лес

неподалеку от деревни Гершановичи (ныне в городской черте Бреста), и здесь разыгралась такая сцена, описанная впоследствии монахами Симеоновского монастыря со слов очевидцев:

«Кгды теды юж так был выданий от старшого, взяли его до себе тые, которые крови его давно прагнули, и увели его до борку, который недалеко был от обозу, од места (Бреста.— К. Т.) в четверть миле, идучи до села Гершоновичи, в левой стороне. Там его сами напрод пекли огнем. А гайдук оден стоял там на тот час оподаль и слышал голос небожчика отца игумена. А он им щось грозно одповедал на муках оных. Потым зась заволали и гайдука того. И казали му мушкет набити двома кулями. Так же пред ним зараз и дол казали наготовати. Доперо ж спытавши его впрод, если бы ревоковал слов своих стороны унеи. А кгды им одповедал: «Што юж рекл, том рекл, и з тым умираю», казали тому гайдукови, абы в лоб ему стрелил з мушкета.

Гайдук зась видячи, же той есть духовный и знаемый ему добре, ещеся з тым не квапил, але первой о прощение и благословение его просил, а потым в лоб до него выстрелил и забил...

То дивная, що поведал тот же гайдук, же небожчик, юж постреленый двома кулями в лоб навылет, еше, опершиися о сосну, стоял час який о своей моци, аж его впхнути в он дол казали. А и там, мовит, ещеся сам лицеи вгору обернул, руки на персях на крест зложил и ноги протяг».

Афанасий Филипович считается религиозным деятелем. Внешне его деятельность так и предстает — у него на первом месте интересы православия, критика унии и католичества. Однако отношения Филиповнча с религией достаточно сложны. Взять хотя бы такую сторону натуры и убеждений Филиповича, как непринятие смирения. Он не из тех, кто, получив по левой щеке, подставляет правую. К месту вспомнить, что христианство при своем зарождении носило мессианский характер: ждали скорого возвращения Христа, который прямо сейчас, при жизни его поколения, объявит «золотой век», братство, равенство, свободу между людьми. Когда ожидания не оправдались, появилось «Откровение Иоанна», а затем для утешения изболевшихся душ возникла и утвердилась идея загробного воздаяния: за грехи — адом, за муки и святость — вечным блаженством; то есть было признано, что на этом свете ничего не меняется, и не стоит пытаться менять, а все расчеты производятся там. Кто грешит здесь — тому там будет плохо. Многие из православных священников и простые верующие терпели свое угнетение, некоторые доступными средствами сопротивлялись,— Филипович был «крайним левым». Он не желает терпеть, он против тех маленьких хитростей и компромиссов, на которые шла верхушка православного духовенства, стремясь сохранить свои доходы и места. По духу, по натуре — он обличитель, полемист, проповедник, борец, герой. Конечно, Филипович — не революционер, конечно, программа его желаний отчасти консервативна, во многом наивна и идеальна. Он не призывал к освобождению крестьян, но требовал национальной и религиозной справедливости. В своих обличениях светских и духовных магнатов,

королевской власти, иезуитов, заживевшего православного епископства он показал такую же отвагу и накал страстей, какие немногим позже прославили в России протопопа Аввакума — человека, сходного с Филиповичем положением, судьбою, неукротимостью духа. Похожи они и своими литературными произведениями. Есть определенная параллель между «Диариушем» игумена Афанасия и «Житием» протопопа Аввакума. Она заметна и в стилистике, и в пользовании народным языком, в повествовании от «я», в желании автора представить читателю личные переживания, свой эмоциональный мир.

В старобелорусской литературе Филипович занимает особое место — он был

последним белорусскоязычным писателем. Хронологически наследовавший его Симеон Полоцкий печатно выступил после отъезда в Москву, где, собственно, и прошла его творческая жизнь. Восемнадцатый век литературных памятников на белорусском языке оставил мало. Поэтому есть грустная для белорусской литературы символика в том, что ее талантливый представитель получил «в лоб две кули».